

Это было неслыханное событие! Правда, о том, что происходило в те полтора часа встречи Пушкина с Николаем I – один из важнейших эпизодов пушкинской биографии! – говорено много, но известно мало.

С чисто формальной точки зрения царский приём опального поэта проходил “в рабочем порядке”: после короткого ожидания у дежурного генерала Пушкин был представлен, вернее будет сказать – допущен в кабинет императора. И уже одно это нарушало придворный порядок. Личные аудиенции, не носившие строго церемониального характера, были явлением чрезвычайным.

Поскольку беседа происходила с глазу на глаз, и никто “свечку не держал”, то последующие рассказы-пересказы можно свести к двум версиям: царской и пушкинской. А так как ни Николай I, ни поэт никаких обстоятельных письменных свидетельств не оставили, то все варианты события известны из вторых, третьих, а то и четвёртых уст.

Можно излагать, как об этом представлении впоследствии рассказывали, ссылаясь на Пушкина, можно – кивая на царя. Но в обоих случаях необходимо сознавать необходимость коррекции, ибо любой пересказ – это не стенография. Тем более что состоявшаяся 8 сентября 1826 года аудиенция, – по меркам придворного этикета, представление царю, – в моём понимании была событием, по внутренней драматургии заслуживающим названия самого настоящего представления. По форме – театр двух актёров. Поэтому различие в восприятии трактовок совершенно закономерно.

Общеизвестно пристрастие Николая I к аккуратности, но возможности привести себя в порядок Пушкину не дали. Мелочь, но психологически очень даже существенная в ситуации первой встречи с новым царём, который умело срежиссировал её. Спектакль, который разыгрывал Николай I, обладавший незаурядным актёрским дарованием, носил название “Милость”. Это вполне объяснимо. Только что расправившийся с декабристами, он сознавал, как непопулярен в обществе. Была ли это его собственная “наработка”, рождённая советом Карамзина “приручить” поэта, или идея подсказана Бенкендорфом, начальником только что созданного III Отделения императорской канцелярии (тайный надзор и руководство политической полицией) и шефом корпуса жандармов, сие никому не ведомо. Но царская сторона прекрасно понимала выгоду для власти “милостиво простить” поэта. К тому же не Николаем I тот был “наказан”.

А потому случилось то, что никогда ещё не видано было. Как писал один из современников, “царь разговаривал с человеком, которого во Франции называли бы пролетарием и который в России имел гораздо меньшее значение,

чем пролетарий у нас, ибо Пушкин, хотя и был дворянского происхождения, не имел никакого чина в административной иерархии, а человек без ранга не имеет в России никакого общественного значения, его называют *“homme honoraire”* – “существом сверхштатным”.

Легко представить картину. Молодой красавец (царю 30 лет) с величественными манерами. Высокий, поглядеть – новый Пётр I. Отнюдь не глупый, послушать – царь-реформатор, готовый мирными средствами осуществить многое из того, к чему стремились заговорщики-декабристы.

Николай I стоит у окна спиной к свету и сверху вниз глядит на невысокого собеседника. Свет из окна падает на Пушкина, который стоит весь в пыли, небритый, в пуху, измятый. А лицо царя остаётся в тени, и его мимику сложно разглядеть. Такой “разворот у окна” спиной к свету относился к маленьким “профессиональным” хитростям его повседневной работы с людьми. Понятно режиссёрское решение мизансцены: поэт должен ощущать себя доставленным из заключения, ещё не получившим высочайшего прощения, чтобы не возникало никакого ощущения свободы. Он ещё в опале и лишён права въезда в столицы. Не декабрист, но лишь потому, что “приговорён” авансом ещё в 1824-м. Этакая форма лёгкого психологического давления.

Вот как выглядела версия Пушкина, с его слов записанная двоюродной сестрой поэта И. И. Козлова Анной Григорьевной Хомутовой (она встретила с Пушкиным всего через полтора месяца после аудиенции в Чудовом дворце):

– А, здравствуй, Пушкин, доволен ли ты, что возвращён?

Я отвечал, как следовало в подобном случае. Император долго беседовал со мною и спросил меня:

– Пушкин, если бы ты был в Петербурге, принял ли бы ты участие в 14 декабря?

– Неизбежно, государь: все мои друзья были в заговоре, и я был бы в невозможности отстать от них. Одно отсутствие спасло меня, и я благодарю за то Небо.

– Ты довольно шалил, – возразил император, – надеюсь, что теперь ты образумишься и что размолвки у нас вперёд не будет. Присылай всё, что напишешь, ко мне; отныне я буду твоим цензором”.

В относительно скрытой, косвенной форме детали этой версии встречаются в стихотворениях “Стансы”, “Друзьям”, в записке “О народном воспитании” и письмах поэта. Позже мотивы разговора в ходе встречи будут всплывать в опосредованных воспоминаниях, впечатлениях современников, воспроизводивших то, что они слышали от самого участника встречи в Чудовом дворце или со слов “многих знакомых” Пушкина.

Версия Николая I представлена в документах, так или иначе исходящих от царя. И, в первую очередь, приходится назвать получившую известность предельно страстную дневниковую запись сокурсника Пушкина по Лицею Корфа. Хотя в записи этой все видят не иначе как пример субъективности и рассказчика – царя, и самого придворного интерпретатора Корфа (разговор Николая I с Корфом происходил в 1848 году, через много лет после беседы с Пушкиным).

Эхо встречи можно увидеть в пометах царя на полях записки “О народном воспитании” и в письмах Бенкендорфа к Пушкину. Например, разрешая Пушкину въезд в Петербург спустя восемь месяцев после московской встречи с царём, шеф жандармов напоминал об одном из аспектов состоявшегося тогда разговора:

“Его величество, соизволяя на прибытие ваше в С<анкт>-Петербург, высочайше отозваться изволил, что не сомневается в том, что данное русским дворянином государю своему честное слово вести себя благородно и пристойно будет в полном смысле сдержано”.

Из почти трёх десятков мемуарных свидетельств о почти потаённом разговоре поэта с царём наиболее подробные записи принадлежат А. Г. Хомутовой (самая достоверная запись рассказа Пушкина), М. А. Корфу (версия Николая I), многолетнему личному секретарю Бенкендорфа Павлу Ивановичу Миллеру (с явным сочувствием к Пушкину), польскому литератору Юлиусу Струтыньскому (где и царь, и Пушкин изображены с явным авторским сочувствием). Читая их, понимаешь: разница взглядов “собеседников” на аудиенцию 1826 года закономерна. То, что для поэта – стратегическая перемена судьбы, для царя – лишь проходной тактический эпизод.

Николай I, что естественно, желал представить обществу свою милость и “раскаявшегося грешника”. Он играл роль первого дворянина, царя-рыцаря, которому вовсе не чужды правила чести. Для Пушкина было важно суметь найти линию поведения, в той или иной мере приемлемую для самодержца, при этом “сохранить достойное лицо” и оставить впечатление несломленности.

И оба они явно стремились оставить сокрытыми от современников самые щекотливые элементы беседы, касающиеся как прошлого России, “оценки” причин, приведших к 14 декабря, так и настоящего и будущего страны (что можно счесть “программами” обоих собеседников). Именно поэтому впоследствии Пушкин не очень распространял свой ответ насчёт 14 декабря во избежание дурных толкований как со стороны власти, так и со стороны декабристов. По той же причине пушкинский пересказ полуторачасового разговора уложился в несколько строк, остальное спрятано за словами “император долго беседовал со мною”.

Немного истории: для царя подходить к освещению событий подобным образом было не в новинку. Ещё в ходе работы Следственного комитета – судей декабристов – Николай I распорядился, “исключив из доклада, представить государю императору в особенном приложении: 1) об убавке срока службы солдатам; 2) о разделении земель; 3) освобождение крестьян; 4) о намерении возмутить военных поселян; 5) о государственных лицах”. Дело заключалось в том, что “Донесение Следственной комиссии” от 30 мая 1826 года публиковалось в печати, и царю было невыгодно обнародовать истинные цели декабристов.

Оно и понятно. Одному, пребывая уже сколько лет в опале без прямого политического преступления, класть голову на плаху? Лезть на рожон в ситуации, когда есть показания арестованных заговорщиков, что его стихи имели непосредственное отношение к формированию революционных идей, а строки “Кинжала” читались как прямой призыв к цареубийству? Бравировать, когда ближайшие его друзья отправлены на каторгу, а знакомые погибли на эшафоте? Ещё пару часов назад пребывать в смятении, видеть подле себя фельдъегеря и отказаться (любое слово поперёк будет равносильно отказу) от желанной свободы?

Другому же что стоит поиграть в милосердие, взвешивая на весах правосудия доводы “за” и “против”? Посулить перемены, обещать покровительство, разрешить Пушкину поселиться в Москве – нет ничего проще. Его поведение – своеобразная показательная игра на публику, которую никто из публики не видел, но про которую все прослышат. Николай I в сложившейся ситуации меньше всего думал о восстановлении справедливости. Вопрос стоял иначе: насколько выгодно “помиловать”?

Собеседники – почти ровесники: царь всего тремя годами старше. Вполне мог, как помните, оказаться в числе лицейских однокурсников поэта, случись реализоваться первоначальному плану обучать младших братьев Романовых в новом учебном заведении. Оба как бы начинают “с чистого листа”: один – жизнь великого государя, другой – жизнь великого писателя. И для одного, и для другого встреча во многом неожиданна, характер разговора – непривычен.

Велико искушение сказать здесь о предчувствии уже не столь отдалённых трагических событий. Почему не столь отдалённых? Потому что, по любым меркам, ждать их осталось недолго: от сентября 1826 года до января 1837-го всего-то чуть более десяти лет. Однако никаких предчувствий чудовищной драмы в тот момент у участников встречи без единого свидетеля в Чудовом дворце нет.

Сцена первая спектакля в жанре диалога-поединка начинается вступительной “репликой” государя, который сразу берёт быка за рога. Декабрист Николай Иванович Лорер так излагает этот момент:

“К удивлению Александра Сергеевича, царь встретил поэта словами: “Брат мой, покойный император, сослал вас на жительство в деревню, я же освобождаю вас от этого наказания с условием ничего не писать против правительства”.

Тут же звучит, кто-то скажет – “наивный”, вопрос: доволен ли Пушкин своим возвращением? И далее следует другой, уже ничуть не наивный, знакомый всем вопрос: “Пушкин, если бы ты был в Петербурге, принял ли бы ты участие в 14 декабря?” Судя по всему, он из числа заранее заготовленных. Из чего следует моё предположение? Дело в том, что несколькими месяцами ранее

он уже звучал в ходе процесса над декабристами. Описывая вопросы в Следственной комиссии, автор "Записок декабриста" А. Е. Розен вспоминал:

"Не все члены комиссии поступали совестливым образом, — иначе как мог бы Чернышёв спросить М. А. Назимова: "Что вы сделали бы, если бы были в Петербурге 14 декабря?" (Назимов был в это время в отпуску, в Пскове). Этот вопрос был так неловок, что Бенкендорф, не дав времени ответить Назимову, привстал и через стол, взяв Чернышёва за руку, сказал ему: "Послушайте, вы не имеете права задавать подобный вопрос, это дело совести".

Как известно, Николай I лично участвовал в допросах, в тех же случаях, когда он не присутствовал на них, то внимательно читал материалы проводимых допросов. Поэтому провокационный вопрос "что вы сделали бы, если бы...", прозвучавший во время следствия, был для него не нов. Но то, что даже Бенкендорфу показалось юридически некорректным, императора не смутило. Он счёл возможным для себя, повторив "бессовестный" вопрос генерала А. А. Чернышёва, задать его Пушкину (кстати, царь по достоинству оценил верноподданническую жестокость генерала и впоследствии назначил его на должность военного министра России).

Позже, через записи Корфа, царь сам воспроизведёт заданный им вопрос: *"Что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Петербурге?" — спросил я его между прочим. "Стал бы в ряды мятежников", — отвечал он".*

Примечательно, тоже между прочим, что царь забыл или счёл лишним, ненужным припомнить объяснение поэта, причину, по которой тот был бы на площади, — ибо там находились его друзья.

Ответ поэта, что он примкнул бы к мятежникам, так как ими были его друзья, конечно, большая смелость, особенно в тогдашней атмосфере страха и подавленности, охватившей довольно широкие круги образованного общества. И уж кому-кому, а Николаю I известно, что Пушкин был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков. Но другого ответа в ходе аудиенции царь от Пушкина вряд ли ждал: счёл бы ложью, начни тот заверять, что ни при каких обстоятельствах не вышел бы на Сенатскую площадь. Так что вопрос Николая I был неким тестом на правду.

Но и "наивный" вопрос царя был не так прост, как кажется с первого взгляда. Им, по сути, Пушкин экзаменуется на лояльность. Задавая его, Николай I заведомо ожидает (царское ожидание — это форма требования) благодарности, признания прошлых прегрешений, заверений в безусловном подчинении и безраздельной зависимости. За этим, помимо всего, скрыто подспудное желание получить от Пушкина, говоря современным языком, признание легитимности своего правления. Желание, чтобы все увидели: тот, кто конфликтовал с его старшим братом-отцеубийцей, признаёт его, убийцу декабристов, законным правителем.

О присутствии этой темы в разговоре свидетельствуют строки, дошедшие до нас от А. Мицкевича:

"Царь почти извиняется перед Пушкиным в том, что завладел трон: он полагает, что Россия ненавидит его за то, что он отнял корону у великого князя Константина; он оправдывался, поощрял поэта писать, сетовал на его молчание".

Слова "сердечного благодарения" царь услышал. Тут поэт ответил "как следовало", потому что понимал: прежний царь его сослал, а новый — воротил. Хотя, видимо, уже тогда и позже царь помышлял о более впечатляющих ответных словах и поступках Пушкина. Подозрение, что Пушкин не ощущает всей меры коснувшегося его царского благодеяния, долго ещё будет сопровождать поэта. В феврале 1827 года Бенкендорф не преминет по поводу стихотворения "19 октября" укорить Пушкина:

"...вовсе не нужно говорить о своей опале и несчастье, когда автор не был в оном, но был милостиво и отечески оштрафован за такие проступки, за которые в других государствах подвергнули бы суду и жестокому наказанию".

Великий лицемер и лицедей Николай I, чья способность перевоплощаться поражала даже выдавших виды людей из его окружения, в ходе допросов декабристов добивался priznательных показаний то наигранной искренностью, то хитростью, то обманом, то угрозой, то пуская в ход даже слёзы. Но в лице Пушкина он встретил достойного противника-виртуоза. Один из ближайших друзей поэта П. В. Нащокин в откровенном разговоре

с Бартеневым свидетельствовал, что Пушкин вышел из кабинета царя “со слезами на глазах и был до конца признателен к государю”.

И ведь подобные суждения можно прочесть даже в воспоминаниях пушкинских собеседников, которым был присущ самый что ни на есть критический взгляд на Николая I:

“Пушкин был тронут и ушёл, глубоко взволнованный. Он рассказывал своим друзьям-иностранцам, что, слушая императора, не мог не подчиниться ему. “Как я хотел бы его ненавидеть! — говорил он. — Но что мне делать? За что мне ненавидеть его?”

Разумеется, не только малейшей угрозы в адрес царя, но даже выражения злости по поводу несправедного, на его взгляд, многолетнего наказания Пушкин позволить себе не мог. Он сумел взять себя в руки, хотя...

Без сослагательного наклонения в данной ситуации никак не обойтись. По той причине, что года за два до этого, в первые месяцы своей ссыльной жизни в Михайловском, Пушкин полушутя-полувсерьёз набросал так называемый “Воображаемый разговор с Александром I”. Конечно, прежний царь не походил на нынешнего, хоть и братом ему доводился. Но почему бы и не помянуть было о возвращении из ссылки? “Когда б я был царь, то позвал бы Александра Пушкина и сказал ему...” Какой виделась поэту воображаемая встреча с царственным тёзкой? Если бы она состоялась, полагал Пушкин, вряд ли чем хорошим обернулась бы. Во всяком случае, заканчивал поэт свой шуточный набросок словами: *“Тут бы Пушкин разгорячился и наговорил мне много лишнего, я бы рассердился и сослал его в Сибирь...”*

Новая метла, хоть и говорят, что метёт по-новому, но, не услышь он сразу, что его прощают, кто знает, как всё повернулось бы. Мог ведь и вспыхнуть, и тогда проявился бы настрой, который описан Ю. Струтыньским:

“Помню, что, когда мне объявили приказание государя явиться к нему, душа моя вдруг омрачилась, — не тревогою, нет! — но чем-то похожим на ненависть, злбу, отвращение. Мозг ошетилился эпиграммой, на губах играла насмешка, сердце вздрогнуло от чего-то похожего на голос свыше, который, казалось, призывал меня к роли стоического республиканца, Катона, а то и Брута”.

Эти строки нередко соотносят с бытующими разговорами о стихах-продолжении “Пророка”: “Восстань, восстань, пророк России...” По сию пору идут споры, находился ли тогда этот текст в кармане поэта или “спокойно” пребывал в его памяти, или, наоборот, сходили ли вообще эти крамольные строки с пера Пушкина. Советское пушкиноведение предпочитало верить в существование “таинственных” стихов, принадлежащих Пушкину, и в его готовность, случись новое унижение-осуждение, ответить самоубийственной дерзостью — прочесть их императору. История, конечно, не без красоты, но она не подтверждается никакими реальными фактами. Хотя ссылку на такую легенду, подтверждающую “революционность” поэта, можно нередко встретить.

Говорить о чистосердечной откровенности со стороны Пушкина в том разговоре с царём, я думаю, не приходится. Поэт тоже исполнял свою роль то с наигранной искренностью, то с хитростью, граничащей с обманом. И прежде всего, это проявилось в наиболее остром месте судьбоносной для Пушкина беседы — на сложную, деликатную, крайне опасную для него тему 14 декабря. Здесь у царя была ещё одна “домашняя заготовка”. Читаем в записках Лорера (со слов брата Пушкина):

“— Вы были дружны со многими из тех, которые в Сибири, — продолжал государь.

— Правда, государь, я многих из них любил и уважал, и продолжаю питать к ним те же чувства.

— Можно ли любить такого негодяя, как Кюхельбекер? — продолжал государь”.

Представить, что упоминание именно Кюхельбекера здесь случайно, на мой взгляд, невозможно. Это ещё одна “домашняя заготовка” Николая I: царский “экзамен” Пушкина. Из опубликованного “Донесения Следственной комиссии” Пушкину известно, что Кюхля едва не стал шестым повешенным (14 декабря на площади он пытался застрелить генерала Воинова и великого князя Михаила Павловича). Николай I прекрасно осведомлён, что Кюхельбекер не просто лицейский однокашник поэта, но один из его близких друзей. И он ждёт, каков будет пушкинский ответ.

Выбор невелик: предать друга (тем самым показать, что ты «сломался») или честным ответом навредить себе. Пушкин находит третий вариант решения проблемы. Он пытается помочь Кюхле, нарочно представляя его странности как признак сумасшествия.

— *Мы, знаящие его, считали всегда за сумасшедшего, и теперь нас может удивлять только одно, что его с другими, сознательно действовавшими и умными людьми, сослали в Сибирь*”.

Николай I (по записям Корфа) считал: “Он (Пушкин) наговорил мне пропасть комплиментов насчёт 14 декабря”. Царь запомнил “комплименты” себе.

Пушкин, ещё не выйдя из царского кабинета, предпринимает первые попытки опальных защитителю. А уже два месяца спустя в записке “О народном воспитании”, представленной царю, поэт, признавая древние исторические корни самодержавия, не скрывает своего сочувствия декабристам. Оно у Пушкина никоим образом не сфокусировано в одну точку. Поэтому не мешает ему писать и про идеализм декабристов, и про “дум высокое стремление”, которые тем самым не отделены друг от друга...

Сложность того, что и как говорилось Пушкиным 8 сентября 1826 года о декабристах, особенно видна в книге Поля Лакруа “История жизни и царствования Николая I, Императора Всероссийского”. Французский писатель, специально призванный, как сказали бы сегодня, для формирования имиджа царя в общественном сознании европейцев (за свой труд он получил пенсию от русского двора), вынужден свидетельствовать: Пушкин пытался говорить “в пользу декабристов”, что путь заговорщиков (пусть и ошибочный) был продиктован серьёзными причинами, которые не устранены, что многие задуманные ими перемены необходимы. На страницах книги любопытно соединены пушкинские “комплименты царю” и защита им опальных декабристов:

“Пушкин честно и искренне воздал его величеству хвалу за мужество и величие души, проявленные так торжественно 14 декабря, и только выразил сожаление о судьбе многих руководителей пагубного дела, обманутых своим патриотизмом, тогда как при лучшем направлении они могли бы принести деятельную пользу обществу”.

Вполне допустимо предположение Ю. М. Лотмана, который считал, что какие-то туманные заверения о прощении “братьев, друзей, товарищей” Пушкин тогда получил. Во всяком случае, именно с момента первой встречи с царём Пушкин возлагает на себя ношу заступника за декабристов, которую он сочтёт важнейшей из дел жизни: “И милость к падшим призывал”.

Вникнем, на чём строится такое допущение? Начнём с того, что слова “я был бы в невозможности отстать от них” — это фраза по своему характеру не декабристская. Она объясняет возможность участия в событиях 14 декабря не политическими мотивами, а понятиями чести (вышел бы на площадь из дружеской солидарности, а не оттого, что разделял мысли о необходимости именно насильственной перемены власти).

Не отрекаясь от дружеских связей с декабристами, Пушкин, тем не менее, уже определился в своём отношении к смуте и анархии, бунту и революции — они ему “не нравятся”. А потому, сторонник преобразований в стране, но не восстания, он мог позволить себе отделить людей от идей и высказать принципиальное сомнение в декабристских средствах. И самое главное, у него уже сложился, независимо от царских репрессий и помолваний, свой взгляд на ход и перспективы российской истории. Понимая, что царь имеет на него свои виды, поэт готов изложить его Николаю I.

Но не исключено, что царь успел раньше ступить на тропу прошлых и новых прегрешений поэта. И Пушкину пришлось “держат ответ” за ранние вольные стихи и за “Андрея Шенье”. “Ваше величество, — отвечал Пушкин, — я давно ничего не пишу противного правительству, а после “Кинжала” и вообще ничего не писал”. У Лакруа (со слов М. А. Корфа) читаем:

“Пушкин без труда оправдался в тех подозрениях, которые тяготели над ним и были последствием его неосторожных отзывов о разных злоупотреблениях; благородно и открыто изложил он пред монархом свои политические мысли...”

Далее опять начинаются гипотезы. Одни полагают, что на этой встрече в подтверждение своей нынешней “благонамеренности” был предъявлен “Борис Годунов” (драма вскоре будет “отцензурована” царём). Другие считают, что этого не произошло. Мол, “Борис Годунов” попал в руки царя несколько

позже, и передача состоялась через Бенкендорфа. Хоча заметить, что, даже если в кабинете Чудова дворца Пушкин вручил рукопись царю, тот братья за чтение её не торопился. Тем не менее, перевести разговор в иную плоскость Пушкину всё же удалось.

Позже раздадутся голоса, упрекающие Пушкина за измену идеалам во время встречи 8 сентября. Тема, кто — поэт или царь — вышел из дискуссии о декабристах победителем, станет чуть ли не главной в глазах всех, кто считал себя святее Римского Папы. Адам Мицкевич, например, полагал, что царь обольстил поэта и что русское общество имело право потребовать Пушкина к ответу:

“Ты нам предрёк в своих ранних стихах кровавое восстание, и оно произошло; ты предсказал нам разочарование, крушение слишком выпренных, слишком романтических идей — всё это сбылось. Что же ты предскажешь нам теперь? Что нам делать? Чего нам ждать?”

Обольстил царь поэта или нет, каждый волен решать сам. Тема эта, согласитесь, щекотливая, объективно результат не измерить. Всё зависит от колокольни, с которой будешь глядеть. Если исходить из того, что после третьего за вечер приглашения на танец обязан жениться, то, конечно, привлечь к ответу следовало. Если обещать не значит жениться, то оценка будет противоположной.

Льстил ли царь Пушкину? Безусловно. До неприличия. Струтыньский, излагая рассказ Пушкина, писал:

“Как, — сказал мне император, — и ты враг своего государства? Ты, которого Россия вырастила и покрыла славой? Пушкин, Пушкин! Это нехорошо! Так быть не должно!”

А в “Истории жизни и царствования Николая I, Императора Всероссийского” Поля Лакруа можно прочесть:

“Подавая руку Пушкину, его величество сказал: “Я был бы в отчаянии, встретив среди сообщников Пестеля и Рыльева того человека, которому я симпатизировал и кого теперь уважаю всей душою. Продолжай оказывать России честь твоими прекрасными сочинениями и рассматривай меня как друга”.

Через три недели после аудиенции в письме Бенкендорфа Пушкин прочитает слова, в которых увидит почти буквальное повторение сказанного ему императором 8 сентября:

“Его величество совершенно остаётся уверенным, что вы употребите отличные способности ваши на передание потомству славы нашего Отечества, предав вместе бессмертию имя ваше”.

Не исключено, что первая строка пушкинских “Стансов” (“В надежде славы и добра...”) окажется поэтическим откликом на “политическую прозу”, прозвучавшую тремя месяцами раньше, во время кремлёвской беседы.

Видимо, Николай I не поскупился и на другие милостивые выражения. Но о чём, однако, беседовали они “долго”? Не о бессмертии же имени Пушкина вёл их разговор после того, как закончилась та часть встречи, которую можно назвать искусным допросом.

Что слышали тогда лишь стены царского кабинета Чудова дворца, но что не могло быть обнародовано и почти не осталось в письмах, дневниках и воспоминаниях современников? Логика подсказывает, это был обмен мнениями о будущем России, о насущных преобразованиях... Только это необходимо было держать за семью печатями. И именно здесь “стороны” о чём-то договорились, после чего и последовали лестные царские слова. В результате последовал царский “заказ” на написание докладной записки “О народном воспитании”, и Николай I вознамерился стать цензором Пушкина.

На фоне этих метаморфоз произойдёт то, на что оба обратят внимание... но каждый заметит “соринку” лишь “в глазу” у другого.

Некоторым образом спадёт напряжение, и они слегка расслабятся. И если в первой половине разговора царь обращался к Пушкину на “вы”:

“Брат мой, покойный император, сослал вас на жительство в деревню, я же освобождаю вас...”

“Вы были дружны со многими из тех, которые в Сибири...”

“Я позволяю вам жить, где хотите”.

То теперь государь переходит на “ты”:

“Что же ты теперь пишешь? Зачем же ты пишешь такое, чего не пропускает цензура?”

“Ты довольно шалил, надеюсь, что теперь ты образумишься и что раз-молвки у нас вперёд не будет. Присылай всё, что напишешь, ко мне; отныне я буду твоим цензором”.

Эту деталь разговора хорошо уловил Пушкин и отразил в своих рассказах друзьям. А царь тем временем заметил другую подробность свидания с Пушкиным. Ободрённый снисходительностью государя, поэт произвольно “обратился спиной к камину, обогревая ноги”, незаметно для самого себя “припёрся” к столу, который был позади него, и почти сел на него. Государь быстро отвернулся от Пушкина и потом говорил: “С поэтом нельзя быть милостивым”.

Вчерашний изгнанник поразил царя тем, что заговорил с ним языком Державина — министра статс-секретаря Екатерины II, Карамзина — личного друга Александра I, Жуковского — учителя русского языка великой княгини (впоследствии императрицы) Александры Фёдоровны, воспитателя-наставника великого князя Александра Николаевича (будущего императора Александра II). Но сомнительно, что, слушая поэта, Николай I таковым его слышал. Зато государь, лицедействуя, явится перед Пушкиным искусным ценителем литературы и чуть ли не поклонником его поэзии. Каждый в итоге сочтёт, что добился своей цели.

Правда, у Николая I была возможность использовать “административный ресурс”. И он, конечно же, не преминул им воспользоваться. Вера Фёдоровна Вяземская запомнила из всего разговора с царём именно то, как, выходя после разговора наедине с кабинетом вместе с Пушкиным, государь, ласково указывая на него своим приближённым, сказал заключительные слова: “Ну, теперь ты не прежний Пушкин, а мой Пушкин”.

Финальная “историческая фраза” явилась неким официальным итогом их встречи 8 сентября, который стал считаться общепризнанным. Нам ли не знать, что “важно, как войти в нужный разговор, но ещё важнее искусство выхода из разговора. . .” “Запоминается последняя фраза”, независимо от того, произнесена она весной или осенью.

Театральный занавес на этом закрылся. Но, как оказалось, совсем ненадолго. И надо ли удивляться, что уже вечером того же дня на балу у французского герцога Рагузского Николай I позвал к себе Д. Н. Блудова. Именно он, составитель официального “Донесения Следственной комиссии” — доклада по делу декабристов, — обратил внимание, с 1826 года вместе со Сперанским и несколькими другими сановниками “приставлен к реформам”. С ним, старым пушкинским приятелем по “Арзамасу”, “человеком Карамзина”, царь делится: “Знаешь, что я нынче долго говорил с умнейшим человеком в России?”

Будущий министр внутренних дел, председатель Государственного совета почтительно-недоумённо интересуется, кто же это. В ответ Николай Павлович называет Пушкина. Царь верно рассчитывает, что сказанное им будет благоприятно воспринято сравнительно умеренными, либеральными кругами двора и дворянства. Но это лишь одна сторона медали. На другой — столь эффектная (не без красоты, конечно) фраза, несомненно, содержит немалую долю самохвальства и самодовольства: новый царь в какие-то полтора часа сумел умнейшего в России человека очаровать и сделать своим. Это, можно сказать, уже следующий акт пьесы, которую, сменив декорации, после антракта в тот день продолжил играть Николай I.

Первые реплики этого действия в роли реформатора царь, с полной уверенностью можно утверждать, произнёс на встрече с Пушкиным. Не исключено, что особой фантазии императору даже не понадобилось. Ещё допрашивая декабристов, он не без успеха убеждал их в своих намерениях стать “царём-освободителем”: “Зачем вам революция? Я сам вам революция: я сам сделаю всё, чего вы стремитесь достигнуть революцией”.

Нечто подобное в тот день он, наверняка, говорил и Пушкину. В одной публикации 1860 года в “Колоколе” со ссылкой на Мицкевича приводились слова Николая I Пушкину:

“Ты меня ненавидишь за то, что я раздавил ту партию, к которой ты принадлежал, но, верь мне, я так же люблю Россию, я не враг русскому народу, я ему желаю свободы, но ему нужно сперва укрепиться”.

Как раз здесь, если присмотреться, обнаруживается точка сопряжения, возникшая в ходе разговора царя и Пушкина. Высказывания поэта при обсуждении некоторых важных вопросов, например, о правительстве, которое “всё

ещё единственный европеец в России”, об общем положении дел в стране (“... в России всё продажно”). Несколько ранее, в “Заметках по русской истории XVIII века”, он конкретизировал:

“От канцлера до последнего протоколиста всё крало и всё было продажно”.

Царские слова об “умнейшем человеке”, адресованные Блудову, косвенно свидетельствовали, что царь признал: Пушкин хорошо понимает то же, что и “мы с тобою”, то есть необходимость преобразований **в рамках данной системы**.

Известно, что самоуверенный и отличавшийся упрямством Николай I считал умными тех, кто был способен угадывать его мысли или умел говорить в его духе. Значит, 8 сентября 1826 года какие-то пушкинские мысли совпали с мнением царя или, точнее, у него создалось такое впечатление. (Хотя не исключено, что царь лишь следовал линии, избранной им в отношении поэта: дать понять всем, что тот – уже не прежний вольнодумец Пушкин, он принял правила игры, заявленные новым государем.)

Остаётся добавить: под этим впечатлением государь поручает Пушкину письменно изложить свои соображения на тему “О народном воспитании”. Почему царь избирает именно её? Эту часть беседы пересказывает, хочется сказать – беллетристически описывает Ю. Струтынский, начиная с момента признания Пушкина, что “никогда не был врагом своего государя, но был врагом абсолютной монархии”, и ответа царя о “республиканских химерах”:

“– Сила страны – в сосредоточении власти; ибо где все правят – никто не правит; где всякий – законодатель, там нет ни твёрдого закона, ни единства политических целей, ни внутреннего лада. Каково следствие всего этого? Анархия!

– Кроме республиканской формы правления, которой препятствует огромность России и разнородность населения, существует ещё одна политическая форма – конституционная монархия.

– Неужели ты думаешь, что, будучи конституционным монархом, я мог бы сокрушить главу революционной гидры, которую вы сами, сыны России, вскормили на гибель ей? Неужели ты думаешь, что обаяние самодержавной власти, врученной мне Богом, мало содействовало удержанию в повиновении остатков гвардии и обузданию уличной черни, всегда готовой к бесчинству, грабежу и насилию?”

Пушкин указывает на другую “гидру”, чудовище куда более страшное и губительное:

“Самоуправство административных властей, развращенность чиновничества и подкупность судов России. Россия стонет в тисках этой гидры поборов, насилия и грабежа, которая до сих пор издевается даже над высшей властью. На всём пространстве государства нет такого места, куда бы это чудовище не достигнуло!

Нет сословия, которого оно не коснулось бы! Общественная безопасность ничем у нас не обеспечена! Справедливость – в руках самоуправцев! Над честью и спокойствием семейств издеваются негодяи! Никто не уверен ни в своём достатке, ни в свободе, ни в жизни! Судьба каждого висит на волоске, ибо судьбою управляет не закон, а фантазия любого чиновника, любого доносчика, любого шпиона!

Что ж удивительного, Ваше Величество, если нашлись люди, решившие свергнуть такое положение вещей. Что ж удивительного, если они, возмущённые зрелищем униженного и страдающего отечества, подняли знамя сопротивления, разожгли огонь мятежа, чтобы уничтожить то, что есть, и построить то, что должно быть: вместо притеснения – свободу, вместо насилия – безопасность, вместо продажности – нравственность, вместо произвола – покровительство закона, стоящего надо всеми и равного для всех!

Вы, Ваше Величество, можете осудить развитие этой мысли, незаконность средств к её осуществлению, излишнюю дерзость предпринятого, но не можете не признать в ней порыва благородного!”

Царь находит в этих словах поэта оправдание мятежа. Но Пушкин повторяет: “Я оправдываю только цель замысла, а не средства”.

Царь, признав благородные убеждения собеседника, толкует о возможных преобразованиях. Ах, как славно говорил царь! Заметьте, не сегодня, не вчера – почти двести лет назад:

“Для глубокой реформы, которой Россия требует, мало одной воли монарха, как бы он ни был твёрд и силён. Ему нужно содействие людей и времени <...> Пусть все благонамеренные и способные люди объединятся вокруг меня. Пусть в меня уверуют. Пусть самоотверженно и мирно идут туда, куда я поведу их, — и гидра будет побеждена! Гангрена, разъедающая Россию, исчезнет, ибо только в общих усилиях — победа, в согласии благородных сердец — спасение! Что же до тебя, Пушкин... ты свободен.

Я забываю прошлое — даже уже забыл. Не вижу пред собой государственного преступника — вижу лишь человека с сердцем и талантом, вижу певца народной славы, на котором лежит высокое призвание — воспламенять души вечными добродетелями и ради великих подвигов. Теперь можешь идти! Где бы ты ни поселился (ибо выбор зависит от тебя), помни, что я сказал и как с тобой поступил. Служи родине мыслью, словом и пером <...> Пиши для современников и для потомства. Пиши со всей полнотой вдохновения и с совершенной свободой, ибо цензором твоим буду я!”

Очень скоро Пушкин, выйдя из царского кабинета, из Кремля направится на Басманную, в дом дяди Василия Львовича, “оставивши пока свой багаж в гостинице дома Часовникова... на Тверской, 12”, так как родителей его, Сергея Львовича и Надежды Осиповны, в то время не было в Москве. Первый после многих лет вечер, когда он пьёт воздух свободы. На душе — ощущение праздника. Полтора часа — не такой срок, за который можно многое понять, но можно кое-что почувствовать. Значит, царь хорошо сыграл на его чувствах. Знать, верно говорили: хороший он был актёр.

Отмечает знаменательный день и вся Москва, в которой поэт не был пятнадцать лет. Ещё недавно лежавшая в углях пожара 1812 года, сожжённая именно 8 сентября, она празднует Рождество Богородицы. И царь среди шумного бала у французского герцога празднует своё торжество над умнейшим человеком в России.

Задним числом мы можем рассудить: 8 сентября стало царским разменом декабристов на Пушкина — уступкой общественному мнению. Поэт счёл, что это дало ему право заключить “договор”, обеспечивающий с его стороны воздержанность, а со стороны “правительства” — терпимость. Впечатлительный и доверчивый, как случается у поэтов, он наивно полагал, что “условия” его приняты, оковы с него сняты и заключённый мир будет вечным, ну, или хотя бы продолжительным. Но очень скоро выяснится: Пушкин ошибался, полагая, что откровенность и благородство вкупе с талантом гарантируют ему исключительное положение.

Дальнейшее развитие сюжета незамысловато. Следуя услышанным заверениям царя, Пушкин пишет записку “О народном воспитании” по формуле, определяющей цель воспитания “молодых дворян”:

“... Служить отечеству верою и правдою, имея целию искренно и усердно соединиться с правительством в великом подвиге улучшения государственных постановлений, а не препятствовать ему, безумно упорствуя в тайном недоброжелательстве”.

Записка о новых принципах народного образования в России проникнута пафосом просветительства, призывом к организации такой системы воспитания и обучения, которая даст возможность молодому поколению “в просвещении стать с веком наравне”. Совпадение, но в это же примерно время для Бенкендорфа над произведением “подобного” жанра усердно трудится ещё один литератор. Его величают Фаддеем Венедиктовичем. Это тот, кого сначала с лёгкой руки Вяземского стали прозывать Фиглярным. А потом Пушкин дополнит это определение именем Видока, начальника парижской тайной полиции, и родилась прошедшая сквозь века кличка “Видок Фиглярин”.

Наверное, мало кто из сегодняшних читателей ведаёт его подлинное имя — Ян Тадеуш Кшиштоф Булгарин (польск. Jan Tadeusz Krzysztof Bułharyn), один из его предков был канцлером у Лжедмитрия Первого, полная фамилия — Шкандербек-Булгарин. А тогда, пожалуй, было ничуть не больше читателей, знающих, что в 1812 году Булгарин служил капитаном во французской армии, участвовал в походе на Россию, был одним из проводников Наполеона при его переправе через Березину, что позволило ему, несмотря на огромные потери, понесённые “Великой Армией”, казалось бы, в безвыходных обстоятельствах переправить и сохранить боеспособные силы.

Колоритная история, но дюжину лет спустя он уже русский писатель, журналист, критик, издатель. Букет будет не полон, если опустить ещё одну его профессию — циничный эксперт-доносчик. Причём, замечу, доносил он не корысти ради, исключительно из любви к искусству и по идейным соображениям. За статью на смерть Александра I Булгарин «удостоился получить благоволение» Николая I, переданное ему через графа Милорадовича. Ему предстоит стать основоположником жанров авантюрного плутовского романа, фантастического романа в русской литературе. На обложке первого русского «бестселлера» стоит его имя. А ещё в творческой палитре популярного писателя — целый ряд докладных записок на такие темы, как распространение социалистических идей в России, политика в сфере книгопечатания, цензура, взгляды членов «Арзамасского общества» и выпускников Царско-сельского лицея. Как видим, интересы были широкого диапазона.

Волею случая у Николая I оказался выбор. Две противоположные по характеру содержания записки легли к нему на стол. Автор одной — «Нечто о Царскосельском лицее и о духе оногo» — верноподданнейше доносил, что система воспитания молодых людей должна, прежде всего, избегать формирования лицейского духа:

«В свете называется лицейским духом, когда молодой человек не уважает старших, обходится фамильярно с начальниками, высокомерно с равными, презрительно с низшими, исключая тех случаев, когда для фанфаронады надобно показать любителем равенства. Молодой вертопрах должен при сём порицать насмешливо все поступки особ, занимающих значительные места, все меры правительства, знать наизусть или сам быть сочинителем эпиграмм, пасквилей и песен предосудительных на русском языке, а на французском — знать все самые дерзкие и возмутительные стихи и места самые сильные из революционных сочинений. Сверх того, он должен толковать о конституциях, палатах, выборах, парламентах; казаться неверующим христианским догматам и более всего представляться филантропом и русским патриотом. К тому принадлежит также обязанность насмехаться над выправкою и обучением войск, и в сей цели выдуманно ими слово «шагистика». Пророчество перемен, хула всех мер или презрительное молчание, когда хвалят что-нибудь, суть отличительные черты сих господ в обществах. «Верноподданный» значит укоризну на их языке, «европеец» и «либерал» — почётные названия. Какая-то насмешливая угрюмость вечно затемняет чело сих юношей, и оно проясняется только в часы буйной весёлости».

Автор второй — Пушкин. Николай I лично с пристальным вниманием знакомится с его запиской. И пока читал, на полях делал пометы: сорок вопросительных и один восклицательный знак. Ответ — наставительная резолюция царя недавно прощённому вольнодумцу — был передан, как всегда, через Бенкендорфа:

«Государь император с удовольствием Изволил читать рассуждения Ваши о народном воспитании и поручил мне изъявить Вам высочайшую свою признательность. Его величество при сём заметить изволил, что принятое Вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенства, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее Вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей».

Пушкинское «правило» царь посчитал декабристским. Не мною замечено, но слова «гений» в записке Пушкина вы не найдёте. Выплыло оно, похоже, из... записки Булгарина, который писал, что все «лицейские воспитанники первого времени», то есть пушкинского выпуска, «почитают себя... гениями».

Так что Николай I свой выбор сделал. А в подтверждение можно привести ещё один показательный факт. Поданная Булгариным записка содержала предложение:

«В целой России я вижу одного только способного к тому (быть начальником лицея, способным к великому делу преобразования духа и образа мыслей учащихя. — А. Р.) человека, — это именно полковник Броневский, инспектор классов тульского училища, которое всем известно ему одному... Я читал замечания Броневского обо всех корпусах и военных училищах в Петербурге; он показывал мне это по доверенности. Чудная вещь! Броневский — человек необыкновенно умный и совершенно знает своё дело. Это единственный педагог, которого можно употребить для преобразования. Он отменно

привязан к царской фамилии и со слезами непритворными рассказывал мне о наследнике престола. Он беден — и это одно заставит его переселиться сюда или куда угодно”.

Пусть и значительно позже (в 1840 году), генерал-майор Дмитрий Богданович Броневский был назначен директором лицея.

Пушкинскому “правилу” царь предпочёл своё:

“Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному. На сих-то началах должно быть основано благонаправленное воспитание. Впрочем, рассуждения Ваши заключают в себе много полезных истин”.

Никаких новых поручений Пушкину не последовало. Но это были только цветочки.

Немного истории: “заявка” молодого монарха заставляет вспомнить очень схожий исторический сюжет, в котором несколько раньше были задействованы Екатерина II и автор “Толкового словаря наук, искусств и ремёсел” Дидро. Историческая параллель тем более показательна, что известно признание самой императрицы: “Я долго с ним беседовала, но более из любопытства, чем с пользой”. В случае с Пушкиными, воспитанным, напомним, на идеях просветителей XVIII столетия, эту фразу век спустя вполне мог бы произнести Николай I.

Суждения французского писателя-философа государыне, с её по-царски утончённой и чувствительной натурой, конечно же, и не могли показаться приемлемыми. Ещё бы! Дидро заметил, что в характере русских замечается какой-то след панического ужаса, и это, очевидно, результат длинного ряда переворотов и продолжительного деспотизма. Они всегда как-то настороже, как будто ожидают землетрясения, будто в моральном отношении они чувствуют себя так, как в физическом отношении чувствуют себя жители Лиссабона. (В Лиссабоне незадолго до этого произошло сильное землетрясение.) Россияне грешат одной из двух крайностей: одни считают свою нацию слишком передовой, другие — слишком отсталой. Те, которые считают её слишком передовой, высказывают этим своё крайнее презрение к остальной Европе. Те, которые считают её слишком отсталой, являются фанатическими поклонниками Европы. Но те и другие видят только внешность.

И уж никак не мог понравиться российской самодержице прогноз, сделанный Дидро по поводу её собственного царствования. Всякое правление, основанное на произволе, дурно, услышала она. Причём Дидро не делал исключения и для правителя хорошего, твёрдого, справедливого и просвещённого. Ибо такой правитель, размышляя философ, внушит привычку уважать и преданно служить любому правителю, каков бы он ни был. Он отнимет у народа право обсуждать, выражать свои желания или отвергать; право возражать, возражать даже тому, что благо... Он — добрый пастырь, который низводит своих подданных на положение скота, заставляя их забыть о чувстве свободы, которое трудно вернуть, раз оно утеряно; он обеспечивает подданным счастье на десять лет, но за это счастье потомки будут расплачиваться двадцатью веками бедствий.

Доживи Дидро до наших дней, можно предположить, вполне мог бы повторить свои слова. В таких случаях говорят: давно сказано, но как, однако, свежо звучит.

Подобно другим французским философам-материалистам XVIII века, Дидро превозносил значение просвещения. “Образование, — писал он, — придаёт человеку достоинство, да и раб начинает сознавать, что он не рождён для рабства”. Свои мысли о народном образовании по просьбе Екатерины II Дидро изложил в “Плане университета или школы публичного преподавания наук для Российского правительства”, составленном в 1775 году, и в ряде заметок, написанных им во время пребывания в Петербурге (“О школе для молодых девиц”, “Об особом воспитании”, “О публичных школах” и др. Это было рассмотрение широкого круга педагогических проблем. Итогом стал проект государственной системы народного образования на принципах всеобщего обязательного бесплатного начального обучения, открытого всем социальным слоям. Там же предлагалась реформа обучения в учебном заведении общего образования — коллеже. Были изложены идеи гражданского, в духе конституционализма, воспитания учеников. Предлагалось расширить программу естественнонаучного образования и одновременно сократить

объём преподавания древних языков и литературы, Заметим, программа пушкинского Лицея во многом соответствовала этим проектам.

“Уроки французского” императрица слушала внимательно. А вот воплощать рекомендации в жизнь не спешила. Если бы она к Дидро прислушалась, то пришлось бы преобразовать всю империю, заменить (Екатерина употребила более характерное слово “уничтожить”) законодательство, правительство, политику, финансы.

Показательно, что и в одном, и в другом историческом эпизоде изначально возникает монаршая просьба подумать и изложить предложения в форме докладной записки “Об образовании и воспитании”. В обоих случаях результат одинаков. Во времена Екатерины далее разговор продолжился только о литературе, политика же была изгнана из обсуждения. Аналогично поступает и Николай. Понятное дело: не писательское это дело – о политике рассуждать.

Доживи Пушкин до наших дней, можно предположить, вполне мог бы услышать повтор царских слов. И вновь: давно было, но как, однако, свежо звучит.

Пройдёт менее трёх месяцев, и 29 ноября Пушкин получит второе письмо Бенкендорфа, не в пример первому сухое и даже жёсткое:

“Я уверен, впрочем, что вы слишком благомыслящи, чтобы не чувствовать в полной мере столь великодушного к вам монаршего снисхождения и не стремиться учинить себя достойным оного”.

Речь шла о том, что Пушкин читал “в некоторых обществах” “сочинённую... вновь трагедию” до её предварительного рассмотрения “его императорским величеством”. Последовавшее ответное извинительное письмо Пушкина: “Действительно, в Москве читал свою трагедию некоторым особам”, но сделал это, “конечно, не из послушания, но только потому, что худо понял высочайшую волю государя”, позволяет, как ему кажется, надеяться, что после него всё благополучно разрешится: “всё перемелется и будет мука”. К письму он приложил рукопись своей трагедии, дабы был ясен “дух, в котором она сочинена”. Тогда-то царь и станет её читать.

Но история с чтениями “Бориса Годунова” – лишь первый звоночек пока ещё не заговорившего басами тревожного колокола, который скоро грянет над всемилостивейше выпущенным “на волю” поэтом. Потому что ещё в октябре, почти за месяц до письма Бенкендорфа, царь утвердил решение особой комиссии военного суда о привлечении Пушкина по делу о стихах “На 14 декабря”.

После чего в январе последует вызов к московскому обер-полицмейстеру генералу Шульгину для дачи “письменного показания” по четырём “пунктам”: 1) Им ли сочинены известные стихи, когда и с какой целью они сочинены? 2) Почему известно ему сделалось намерение злоумышленников, в стихах изъяснённое? 3) Кому от него сии стихи переданы? 4) В случае же отрицательства, неизвестно ли ему, кем оные сочинены?”

“Известные стихи” оказались всё тем же отрывком из “Андрея Шенье”, по поводу которых он уже давал объяснения и самому Николаю (на встрече 8 сентября), и Бенкендорфу. Тогда, в “долгой беседе”, Пушкин как будто всё объяснил насчёт “Андрея Шенье”, и царь вроде бы остался удовлетворён. Но вышло, когда дело дошло до письменных объяснений, что “согласие разговора” было иллюзорным.

Пушкин, повторно признавая своё авторство стихов, вновь заявляет, что так как они были написаны прежде последних мятежей, то “все сии стихи никак, без явной бессмыслицы, не могут относиться к 14 декабря”. Уже поставив подпись и дату под письмом, он сделает приписку:

“Для большей ясности повторяю, что стихи, известные под заглавием: 14 декабря, суть отрывок из элегии, названной мною “Андрей Шенье””.

Пройдёт ещё полгода, и Пушкина вновь затребуют, на этот раз уже к петербургскому обер-полицмейстеру. Всё по тому же вопросу. И опять поэт вынужден повторять ранее сказанное. Потом, спустя ещё пять месяцев, в ноябре 1827 года Пушкин вызван давать суду новое, четвёртое “объяснение”. После чего “дело”, следуя по инстанциям, отправится сперва в Сенат, затем в Государственный совет.

Двухлетний разбирательство по делу об “известных стихах” всё же завершилось сенатским признанием пушкинского сочинения “соблазнительным и служившим к распространению в неблагонамеренных людях того пагубного

который правительство обнаружило во всём его пространстве". "За выпуск в публику" стихов, не получивших дозволения цензуры, поэта надлежало предать суду.

Однако Сенат счёл возможным, "избавя его, Пушкина, от суда, обязать подпиской, дабы впредь никаких своих творений без рассмотрения и пропуска цензуры не осмеливался выпускать в публику под опасением строгого по законам наказания". По окончательному решению Государственного совета сверх того "по неприличному выражению" Пушкина "в ответах своих на счёт происшествия 14 декабря 1825 года и по духу самого сочинения... иметь за ним в месте его жительства секретный надзор".

Однако не удалось завершиться "унижению", которое Пушкин, по его словам, испытал, вынужденный дать требуемую подписку, как против него возникает новое, гораздо более угрожающее дело.

На имя петербургского митрополита Серафима поступила жалоба на "некое развратное сочинение под заглавием "Гавриилиада". В тот самый день, когда царь утвердил решение Госсвета по делу об отрывке из "Андрея Шенье", он же приказывает создать особую комиссию, которая выносит постановление допросить Пушкина, им ли "писано" "богоухильное сочинение".

"Ты зовёшь меня в Пензу, — писал Пушкин 1 сентября 1828 года Вяземскому, — а того и гляди, что я поеду далее "прямо, прямо на восток". (Надо ли разъяснять, что он имел в виду — на каторгу, в Сибирь?) И вздыхал: "до Правительства дошла, наконец, "Гавриилиада".

Новое следствие и новый вызов (в августе 1828 года) к петербургскому военному генерал-губернатору для дачи письменных показаний. Пушкин, который уверенно держался на допросах по делу о стихах "На 14 декабря", решил изменить тактику — отрёкся от своего авторства поэмы. На первом допросе, потом на втором. И тогда, по требованию Николая I, который внимательно следил за ходом дела, Пушкин в третий раз был вызван к одному из членов особой комиссии, графу П. А. Толстому. Тот огласил царскую резолюцию:

"Сказать ему моим именем, что, зная лично Пушкина, я его слову верю. Но желаю, чтоб он помог Правительству открыть, кто мог сочинить подобную мерзость и обидеть Пушкина, выпуская оную под его именем".

Вмешательство царя ещё больше осложнило и без того трудное положение поэта. Слова "зная лично Пушкина", как бы снова заочно возобновляли тот вопрос-беседу. Что в его ситуации делать? Продолжать отрицать своё авторство? Перестать отрицать? Но это значило бы, что он говорил до сих пор неправду. В критическую минуту поэт принял решение избрать путь "презрения к судьбе". "По довольном молчании и размышлении", Пушкин просит разрешения написать письмо в собственные руки царя. Получив согласие, тут же в присутствии графа его написал, запечатал и передал Толстому.

Прочитав переданное ему письмо, Николай I наложил резолюцию: "Мне это дело подробно известно и совершенно кончено".

Царская резолюция сохранилась. Пушкинское письмо — нет. Но все новейшие исследователи высказывают обоснованное, но гипотетическое предположение, что в нём поэт признался в авторстве "Гавриилиады". Почему? Кто-то считает, что Пушкин решился на прямой и честный ответ, потому что полный внутреннего достоинства тон, в котором он провёл во время аудиенции в Кремле свой разговор с царём, импонировал Николаю I.

Мне так не кажется. Я исхожу из того, что отправлять Пушкина в ссылку вслед за декабристами царю было не выгодно. А вот сделать выигрышный ход в своей игре "обольщения" поэта, которую он начал в дни коронации, вернув его из ссылки, было очень даже выгодно. "Закрыв" дело о "Гавриилиаде", тем самым освободив Пушкина от ожидавшейся им кары — ссылки в Сибирь, — царь ещё больше привязывал поэта к себе незримыми узами благодарности. Они сковывали Пушкина до конца его жизни. Всё, что могло поколебать его иллюзии, он относил на счёт не царя, а его окружения. Потому и говаривал: жалует царь, да не жалует псарь.

Хотя, безусловно, к тому времени надежды Пушкина, возникшие в ходе первой встречи с царём, не могли не пошатнуться. "Необъятная выгода" высочайшей цензуры, стало уже ясно, на деле обернулася куда большей против обычной цензуры преградой на пути к печати. С царём, как известно, не поспоришь, на него апеллировать некому. "Борис Годунов" это подтвердил. Рукопись исторической трагедии, проделав путь от Бенкендорфа к царю, у него

не задержалась. Она проследовала далее, на экспертизу... к Булгарину. Тот дал отзыв, на основе которого Николай I наложил цензорскую резолюцию — знаменитый совет переделать трагедию в “историческую повесть или роман, наподобие Валтера Скотта”.

Ни возражать, ни объясняться Пушкин не счёл нужным. Он вежливо отклонил высочайшее предложение, мотивируя тем, что “не в силах уже переделать... однажды написанное”. Рукопись легла в ящик письменного стола и пролежала там около четырёх лет. А вот Булгарин свой отзыв воплотил в жизнь. В 1830 году он выпустит исторический роман “Димитрий Самозванец”. При этом отечественный Валтер Скотт, пользуясь тем, что “Борис Годунов” всё ещё не опубликован, сделал из него ряд заимствований. Не пропадать же добру!

В конце 1835 года “умнейший человек в России” вынужден будет подытожить: “...Ни один из русских писателей не притеснён более моего”.

Но это ещё не финал пьесы, в которой “...государь посылал за ним фельдъегеря в деревню, принял его у себя в кабинете, говорил с ним умно и ласково и поздравил его с волею...” У пьесы будет продолжение.